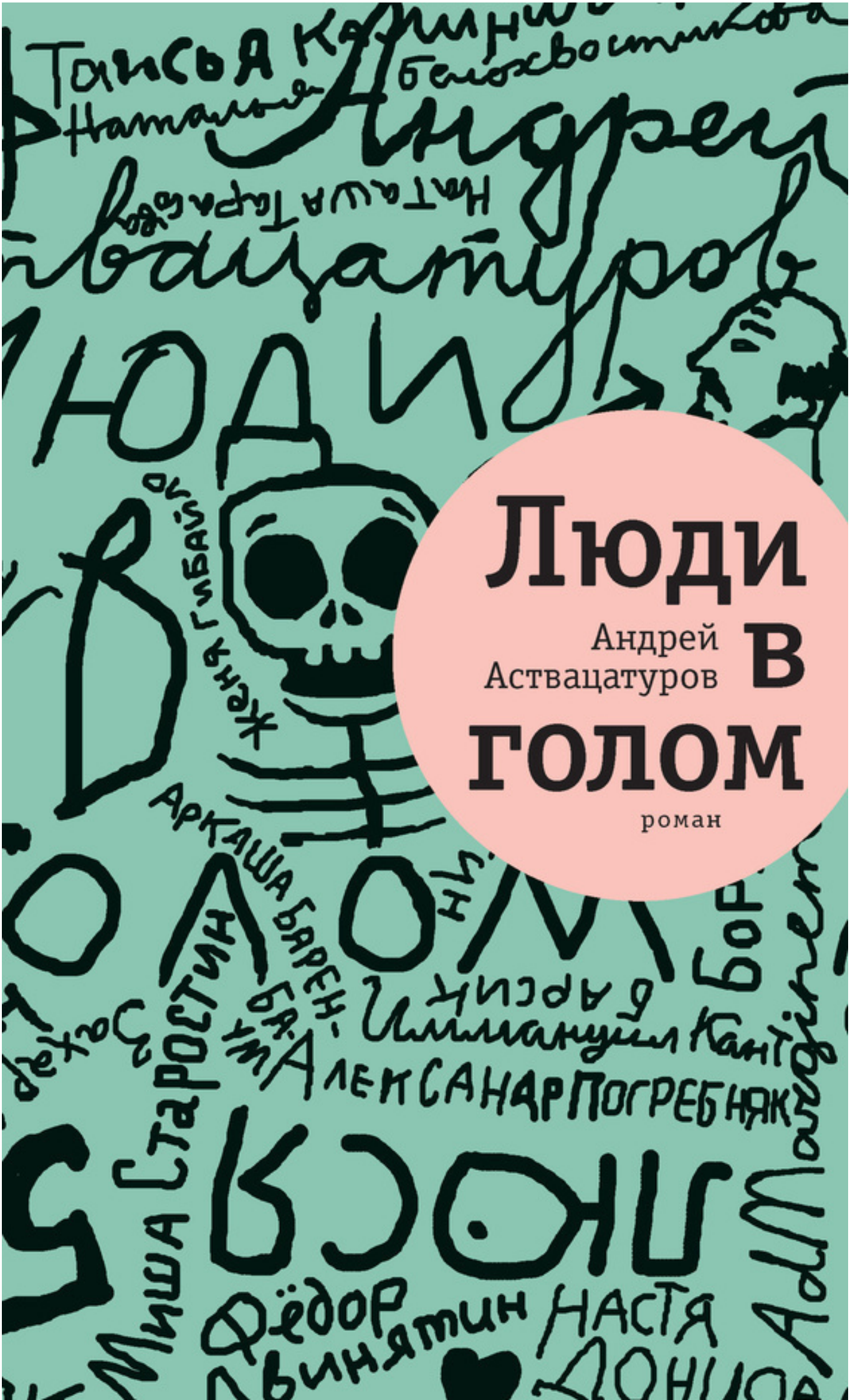
Люди
в голом
Андрей Аствацатуров
роман

Андрей Аствацатуров

Люди в голом

«Ад Маргинем Пресс»
2010

Аствацатуров А. А.

Люди в голом / А. А. Аствацатуров — «Ад Маргинем Пресс», 2010

Дебютный роман Андрея Аствацатурова (профессионального филолога, знатока Генри Миллера, внука знаменитого советского литературоведа В. М. Жирмунского) напоминает своей интонацией лучшие страницы Сергея Довлатова, Вуди Аллена и Павла Санаева. Герой-рассказчик – питерский «интеллигент в очках» – проводит читателя по местам своего поздне советского детства и университетской юности, всюду сохраняя острую наблюдательность, самоиронию и блестящее чувство юмора.

© Аствацатуров А. А., 2010
© Ад Маргинем Пресс, 2010

Содержание

Часть первая 5
Конец ознакомительного фрагмента. 16

Андрей Аствацатуров
Люди в голом

Часть первая

Первая любовь

Как-то раз я заговорил со своей девушкой о том, что люди часто влюбляются в теле– и кинозвезд. В этом нет ничего удивительного: люди не могут жить без идеалов. Но в самой любви к звездам есть, как мне кажется, навязчивая логика. Один мой знакомый в пору своей юности был влюблен в итальянскую актрису Монику Витти. Он потом написал диссертацию о Чехове. Другой – в Мэрилин Монро. Теперь он руководит сетью торговых точек. Третий – в американскую порнозвезду. Он человек криминального склада, работает бандитом в небольшом провинциальном городе.

Я стал думать о себе и вспоминать. В закоулках памяти, наконец, обнаружил, что подобным образом был влюблен два раза. Первый раз – где-то в середине – конце семидесятых – в певицу Таисью Калинченко. Мне очень хотелось, чтобы она стала моей женой. Второй раз – в актрису Белохвостикову.

Это имело место уже в самом начале восьмидесятых, и моя влюбленность предполагала более легкомысленные отношения. Своей девушке я так и не смог объяснить, кто это такие.

Вспомнил, что Таисья Калинченко пела песню про лесного оленя, который должен был ее (Таисью) “умчать в страну оленью”.

Или, может, это Ведищева пела про лесного оленя?

Во всяком случае, Таисья Калинченко сыграла эпизодическую роль медсестры в длинном фильме “На всю оставшуюся жизнь”. И за это я ее полюбил. Полюбил больше, чем маму и дедушку, больше, чем самого себя, больше, чем Ленина.

В актрису Белохвостикову я влюбился, когда посмотрел фильм “Легенда о Тиле”.

И кто из меня получился?

А девушка вскоре после этого разговора меня бросила. Она уехала в Египет на Красное море работать аниматором.

Первые учителя

Мне с детства казалось, да и сейчас кажется, что я ненастоящий. Что я игрушка, в которую люди почему-то неправильно играют. Но это чувство пришло не сразу. Я с самого начала не доверял миру. Но, по правде говоря, он чаще привлекал меня, чем отталкивал. А потом мой одноклассник Витя Андреев случайно описался на уроке математики.

Этот Витя мне очень нравился. Не подумайте только ничего. Он мне виделся не в томасманновском голубоватом свете (“дай карандаш, мальчик, меня дядя Густав зовут, а я тебе за это Венецию покажу”), а в общечеловеческом.

На групповой фотографии нашего первого класса “В” – двадцать пять круглых румяных физиономий. Карикатурные гномы из диснеевского мультика про Белоснежку. И только у Вити лицо вдохновенного романтического героя. Грустные глаза и черные кудри. Таким, наверное, было лицо Байрона, когда он сидел за партой в Хэрроу и, забыв об уроке, сочи-

нял свои первые стихи. Рядом на фотографии – Валентина Степановна, наша первая учительница, женщина неопределенного возраста в голубом кримпленовом платье. Она укоризненно и назидательно смотрит в фотообъектив. На правой щеке большая родинка.

Вите не повезло. Он пошел в школу, предварительно не выучившись читать. Теперь, по прошествии стольких лет, неумение читать кажется мне безусловным преимуществом, великим даром, на который способны родители, действительно по-настоящему любящие своих детей. В книгах нечего ловить и нечего искать. Их сочиняют для того, чтобы превратить неорганизованное людское стадо в организованное.

Прочитав книги, люди глупеют окончательно, и тогда с ними можно делать все что угодно.

Витя читать не умел и потому был гораздо сообразительнее всех нас.

Но в школе так не считали. Витя числился отстающим. Ему стоило огромных усилий заучить буквы. Он уставал, пытался передохнуть. И тут выяснялось, что запоминать буквы недостаточно. Их нужно соединять в слова и правильно записывать. Другие уроки Витю отвлекали. На них нужно было заучивать массу всего сложного, малопонятного и ненужного, цифры, например, и тут же с ними что-то делать: вычитать, складывать, разбирать, какая из них больше другой. От всего этого у Вити голова шла кругом. Он ничего не успевал. Валентина Степановна сердилась и ставила Вите двойки.

“Кто не успевает, Андреев, – тот бывает неуспевающим!” – назидательно говорила она всякий раз, когда заносила ручку над его дневником.

Помню, в ноябре к нам пришла завуч младших классов Галина Павловна. Сухая старушка. Лицом она мне напоминала полярную сову. Я таких сов видел по телевизору в передаче “В мире животных”. На кончике носа у Галины Павловны настороженно поблескивали очки в тоненькой золотой оправе – подарок каких-то благодарных родителей.

Мы сталкивались с Галиной Павловной в коридоре на переменах.

Она смотрела на нас с нескрываемой ненавистью. Если кто-то пытался бегать, она истошно кричала:

– Стой на месте! – и зловеще шипела: – Дрррянь такая! Зла не хватает!

Так вот эта Галина Павловна пришла проверять, с какой скоростью мы читаем и сколько слов сможем прочесть за минуту. Всех выгнали за дверь, а потом вызывали в класс по одному, совали в руки книжку и заставляли читать вслух. Мы стояли в коридоре и тряслись от страха. Некоторые то и дело бегали в туалет.

Меня вызвали одним из первых.

Я сел за парту, взял книжку и стал быстро читать сбивающимся от волнения голосом.

– Не части! – перебила меня в какой-то момент Валентина Степановна. – Читай с чувством, с толком, с расстановкой!

– Чего? – не понял я.

– Чего-чего, – передразнила она. – Не “чего”, а “что”! Читай давай! Время-то идет!

Я читал до тех пор, пока Галина Павловна не сказала “стоп”.

– Теперь надо выяснить, – повернулась она к Валентине Степановне, – понял ли он, – тут она кивнула в мою сторону, – что прочел. – Вот… – она ткнула пальцем в книгу, – что это значит?

– Что? – испугался я.

– Вслух прочти! Горе луковое! – вмешалась Валентина Степановна.

– Царская Россия, – начал читать я, – была тюрьмой народов. Царь и помещики держали народы в невежестве и покорности.

– Стоп! – скомандовала Валентина Степановна. – Как ты это понял?

Я молчал.

– Как понял, я тебя спрашиваю?! – повысила она голос.

Я в страхе покосился на массивное обручальное кольцо у нее на пальце.

– Ну, царские помещики… того… всех обижали… особенно бедных, рабочих и кресть…

– При чем тут бедные?

Я замолчал.

– Аствацатуров! Объясни нам, что значит слово “невежество”!

Я молчал.

– Невежество – это ты! – выдохнула, наконец, Валентина Петровна. Прическа “тюльпан” в стиле 50-х, напоминавшая огромный кукиш, яростно закачалась у нее на голове. – Позор какой! Выйди и позови… кто там по списку… Настю Батурину.

Потом выяснилось, что я успел прочитать шестьдесят три слова.

Я забыл рассказать, что до меня такой же процедуре подвергли Витю Андреева. Бедный Витя за минуту сумел одолеть только четыре слова.

– Хулиганство! – кричала на него завуч. Нас всех уже закончили экзаменовать и запустили в класс, чтобы объявить результаты. – Лодырь! Немедленно родителей ко мне! Чтоб завтра же!

Валентина Степановна, стоя рядом с Галиной Павловной, буравила Витю взглядом, словно хотела его насквозь проткнуть.

После этого случая Витю окончательно записали в “отпетые”. Что бы Витя ни делал – его всегда ругали.

Прошел год. Витя по-прежнему отставал.

Однажды на уроке математики он вдруг расплакался.

– В чем дело? – ледяным тоном спросила Валентина Петровна.

Оказалось, что Витя описался.

Об этом доверительным шепотом Валентине Петровне сообщила Оля Семичастных, отличница. Ее посадили рядом с Витей, чтобы она его “подтягивала” как отстающего.

Витя описался. Он тянул руку, чтобы попроситься выйти, тянул, тянул изо всех сил, но Валентина Степановна его не заметила.

И Витя описался.

Помню, как он стоял у доски слева от стола Валентины Петровны и плакал, растирая слезы по щекам.

А Валентина Степановна, красная от возмущения, кричала:

– И не жалоби меня! Сам виноват! Если б это произошло с хорошим учеником, я бы еще поняла и простила! Но это сделал ты, лодырь и двоечник! Иди с глаз моих!

Витя, рыдая, поплелся к двери.

Мы все смотрели на него с презрением и жалостью.

Когда я пришел домой, то первым делом рассказал папе, что Витя Андреев описался.

– Да? Вот как? – рассеянно ответил папа. Он читал газету, и ему явно не хотелось на меня отвлекаться. – А ваша эта, как ее, Валентина Степановна… что она?

– Очень сердилась. Сказала, что если б это произошло с хорошим учеником, то она бы его простила.

Папа вытаращил глаза. И помотал головой в недоумении.

– То есть как? Так и сказала?

– А что?.. – удивился я. – Что тут неправильного?

– Правильно, правильно, – сказал папа и как-то странно хохотнул. Я никогда прежде не слышал в его голосе таких интонаций. – Выходит так: если ты двоечник – веди себя тихо и писаться не смей! А если отличник, вроде вашего Леши Петренко, то ссы и сри в штаны сколько душе угодно. Никто слова поперек не скажет!

Я испугался, услышав это. Мне захотелось, чтоб поскорее наступило лето и меня бы повезли на дачу в Комарово…

Одноклассники меня любили. Кажется, так. А может, и нет. Не помню. За что меня было любить? Наш класс боролся за какое-то там переходящее знамя, а я плохо учился, снижал все показатели и вдобавок был очкариком.

Меня называли “очкарик – в жопе шарик”, а Миша Старостин, когда мы в четвертом классе поссорились, придумал мне обидную кличку Очкастая Кобра.

Когда всех принимали в пионеры, меня приняли самого последнего.

Валентина Степановна сказала мне тогда при всех:

– У тебя, Аствацатуров, волосатое сердце.

А я даже оказался не в силах понять, что это она мне сказала…

Учитель физики по кличке Угрюмый, напротив, был не столь изысканно-метафоричен. Однажды он обдал меня прокуренным дыханием и назвал “умственным убожеством”.

Угрюмому было лет семьдесят. Он был стар и мудр. А я – молод и глуп. У него вообще-то была фамилия, я просто забыл. Такая дурацкая и угрюмая, под стать ему самому.

Угрюмый любил Есенина и Пушкина. Иногда на школьных вечерах он читал их стихи наизусть, и на глаза у него наворачивались слезы. Закончив стихотворение, он доставал из кармана брюк носовой платок и шумно чистил нос. А еще он любил нас всех воспитывать. Особенно меня. Все разговоры со мной у него почему-то сводились к одной формулировке: он умный, а я, соответственно, дурак. Я как-то поинтересовался, где это он приобрел такой запас мудрости, что его хватило на семьдесят лет. (Дерзить старшим я стал довольно поздно. И это была одна из первых попыток. Мне было пятнадцать.) Угрюмый посмотрел на меня с презрением. Но удостоил ответом.

Оказалось, он поумнел на фронте, в 1945 году, во время Балатонской операции. Угрюмый, тогда еще молодой и кудрявый, сидел в окопе вместе со своим другом. Друг ел кашу и радостно причмокивал. Угрюмый свою кашу уже доел. Но ему хотелось еще. Он с неприязнью смотрел на своего друга, который ловко орудовал алюминиевой ложкой. Внезапно послышался пронзительный свист, а затем чудовищный грохот. Угрюмый закрыл глаза и повалился на дно окопа. Когда он их открыл, друг сидел в той же позе, только у него теперь не было головы. Ее оторвало осколком снаряда. Зато обе руки были на месте. И они по-прежнему прижимали к груди миску с кашей. Угрюмый не растерялся. Он аккуратно разжал другу пальцы, забрал миску и спокойно доел кашу.

– Так я поумнел, – говорил мне Угрюмый. – Каша моему другу теперь была не нужна. Да и чем бы он ее смог есть?

История эта мне не понравилась. Роман Луи-Фердинанда Селина “Путешествие на край ночи”, где подобные сцены встречаются чуть ли не на каждой странице, я к тому моменту еще не успел прочитать. Я собрал свои вещи и вышел, не взглянув в его сторону и не попрощавшись. Потом мы два года враждовали. Я никогда с ним не здоровался и не отвечал на его вопросы. Я даже не реагировал, когда он пытался меня задевать. Я говорил с ним только тогда, когда он вызывал меня к доске, да и то с неохотой.

Вскоре, после того как мы закончили школу, он умер. Мне даже позвонил кто-то из одноклассников и позвал на похороны. Но я не пошел.

Мои одноклассники очень уважали Угрюмого. И хорошо учились по его предмету. Тройки были только у меня и у одного мальчика из соседнего класса.

Хм…

Спи спокойно, дорогой учитель.

Ты не зря страдал и боролся.

В наших супермаркетах можно найти кашу на любой вкус.

Бассейн

Кстати, мое поступление в школу доставило родителям много хлопот. Помню, они страшно суетились, куда-то бегали, кому-то звонили, подключали чьих-то родственников.

В итоге я поступил.

Школа, куда меня определили, считалась элитарной, с углубленным изучением английского языка. Родители были счастливы, но дали мне понять, что для такого оболтуса, как я, это большая честь.

– Обещай мне, что будешь получать только “пятерки”! – строго требовал папа.

Я обещал. И даже первое время старался изо всех сил. Но потом что-то произошло. И даже не потом, а почти сразу. С одноклассниками у меня вроде бы конфликтов не возникало. Дети как дети. Я никого не задирал по причине слабого здоровья. И меня, в свою очередь, никто не трогал.

Дело было в учителях. Они оказались совсем не похожими на тех взрослых, которые приходили в гости к моим родителям. Особенно учитель физкультуры, Александр Палыч.

Я постепенно становился все более рассеянным. На уроках по математике “постоянно вертелся”, как говорила моей маме наша учительница Валентина Степановна.

В общем, отличника из меня не вышло. Пятерки иногда появлялись в моем дневнике. Но четверок и троек было больше. Иногда я даже получал двойки. Но они не расстраивали. В каждой я различал изящный изгиб лебединой шеи, который можно было подолгу разглядывать. У родителей на этот счет было другое мнение. Поначалу меня ругали, наказывали и даже пытались “серьезно поговорить”. Потом – просто махнули рукой.

В некоторых еврейских семьях подобные проблемы решаются просто. Ребенка начинают усиленно раскармливать.

– Мой Додик – не гений. Это ясно… Зато пусть будет толстый, – заявляет своей свекрови за обедом одесская мамаша. Тут же рядом сидит упитанный Додик и с аппетитом доедает котлету. Потом он встанет из-за стола (“Додик! Шо нужно скызать?” – “Спасибо!” – “Вот так!”), украдкой возьмет из вазочки в серванте конфеты, рассует их по карманам и радостно побежит играть во двор.

Я вырос не в Одессе, а в Ленинграде. Поэтому меня не стали раскармливать. Некоторое время я был предоставлен самому себе. Но потом за меня снова взялись и решили записать в бассейн. Мне эта идея почему-то сразу не понравилась. Вода была исключительно дачным развлечением, а в городе я и мой приятель Леша Безенцов предпочитали гонять по двору резиновый мяч.

Родители не поощряли моей дружбы с Безенцовым. Они, видимо, подозревали, что его мнение для меня гораздо важнее их собственного.

– Безенцов этот, я погляжу, твой духовный вождь, – иронически говорил папа.

Выражение “духовный вождь” мне очень нравилось. Я его тогда часто повторял.

– А кто у тебя духовный вождь? – спросил я однажды папу.

– Иммануил Кант, – коротко бросил папа, и больше с подобными вопросами я к нему не приставал.

Бассейн политехнического института, серое уродливое здание, располагался напротив нашего дома через дорогу. В холле было много народу: дети, их родители, дедушки, бабушки. Все толпились возле какой-то стеклянной двери. Оттуда время от времени высовывалась тетка в тренировочном костюме с бумажкой в руке и выкликала чью-нибудь фамилию. Наконец дошла очередь и до меня. Наверное, не стоит рассказывать, как внимательно тетка вглядывалась в бумажку и, спотыкаясь, пыталась воспроизвести то, что там было написано.

– Авцар… нет… Ацвара… бог ты мой… Астаравацуров! – выдавила она, наконец, и я, услышав это сочетание звуков, догадался, что речь идет, по-видимому, обо мне.

Я протиснулся сквозь толпу детей к тетке, поднял голову и робко сказал:

– Аствацатуров…

– Что? – удивилась она.

– Меня зовут Андрей Аствацатуров.

– Астра… ладно, проходи, мальчик. Побыстрее. По лестнице на второй этаж. Тренер уже ждет. Плавки с собой?

– Да.

– Полотенце? Мыло?

– У него все есть! – подскочила мама. – Андрюша! У тебя все в пакете… в полиэтиленовом.

Тетка посторонилась, чтобы пропустить меня, а потом громко объявила:

– Так… приготовиться Баранову!

В бассейн меня так и не записали. Тренер Ангелина Пална сказала, что я болтун.

– Нам здесь таких болтунов не надо! – добавила она строго. – У нас своих болтунов хватает.

Я сидел на низенькой длинной скамейке и дрожал от холода. Мокрый и почти голый. На мне были только синие плавки и резиновая шапочка. Незадолго до этого меня попросили проплыть несколько метров. Я проплыл. Потом вылез из бассейна и, увидев на скамейке своего одноклассника Андрея Ложечникова, подсел к нему. Мы стали тихонько разговаривать.

– Болтун! – подытожила Ангелина Пална. Она сунула мне в руки листок бумаги. – На вот! Отдай маме.

Это было медицинское направление в бассейн. На другой стороне в правом верхнем углу крупным почерком значилось: “НЕ ПОДХОДИТ”.

– Как “не походит”?! Почему?! – закричала мама, когда я протянул ей листок. Я уже оделся, спустился вниз, и мы стояли в холле.

– Андрюша! – теребила меня мама. – Что значит “не подходит”? Ты спросил, почему?

Мне вдруг стало страшно и захотелось плакать.

– Почему?! – продолжала допытываться мама.

Я молчал.

– Андрюша! Я с тобой разговариваю или с кем? Что тебе сказали?

– Потому… что я… болтун… – выдавил я, наконец.

– Что? – не поняла мама. – Глупости! Пойдем!

С этими словами она потащила меня за рукав к какому-то лысому мужчине-физкультурнику, который со скучающим видом сторожил все ту же стеклянную дверь.

– Да? Что у вас? – спросил он рассеянно.

– Вот! – сказала мама и сунула ему мою медицинскую справку. – Ребенок прекрасно плавает. С пяти лет. Мы каждый год ездим в Крым…

– Та-а-ак, – мужчина уткнулся в бумажку и прочитал вслух: – “Не подходит”. Гм… – Тут он на мгновение задумался, а потом вернул маме справку: – Да вы не волнуйтесь так, мамаша. Ничего страшного. Просто он нам не подошел. Видите, ребенок у вас слабенький, маленького роста. Нам такие не подходят. Ему надо побольше спортом заниматься, физкультурой…

– Но ведь… – тут мама наморщила лоб и заморгала. – Позвольте… Я ведь… собственно… его и привела сюда для этого… чтоб спортом заниматься.

Физкультурник улыбнулся и развел руками.

Так закончилась моя спортивная карьера. Едва успев начаться. Я остался слабым, худеньким, тщедушным. В 80-е годы, когда в моде были бицепсы, трицепсы, а также Стал-

лоне и Шварценеггер в качестве убедительного приложения к ним, у меня появились серьезные комплексы. Одноклассники надо мной посмеивались. Потом мода изменилась. Но комплексы остались.

Недавно, проведя очередную пару в университете, я зашел в буфет. За крошечным столиком в углу сидели мои коллеги, Наталья Семеновна и Даша. Я кивнул им и встал в очередь.

– Андрей! – позвала меня Наталья Семеновна.

– Да, – повернулся я к ним.

– Мы с Дашей давно уже хотели сказать. Вам очень идет этот черный свитер. Вы в нем такой элегантный мужчина…

– Во мне мужского, Наталья Семеновна, – ответил я словами Розанова, – только брюки.

Наталья Семеновна улыбнулась.

– Андрей напрашивается на комплимент, – кивнула она Даше. – А мы вот назло не будем делать ему комплименты. Правда, Даша?

– Не будем, – согласилась Даша.

– Кстати, Андрей, – продолжила Наталья Семеновна, – кокетство, действительно… как бы вам сказать… не совсем мужское качество… Лучше берите кофе и подсаживайтесь к нам.

Игрушки и череп

В 1976 году я вряд ли кому-то мог показаться элегантным мужчиной. Разве что бабушке. Бабушки всегда умиляются своим внукам. Старики и дети ведь очень похожи. Например, и тем и другим требуются игрушки. Разница лишь в том, что дети играют пластмассовыми игрушками, а старики ничего такого позволить себе не могут. Иначе их отправят в дом для маразматиков. Но играть все равно хочется. Поэтому пожилых людей чаще, чем молодых, назначают руководителями, директорами заводов, премьер-министрами, школьными учителями. В результате получается даже лучше, чем у детей. Интереснее. Ведь игрушки пожилых людей живые. Они ходят, бегают, разговаривают, смеются, плачут. Почти как настоящие пластмассовые.

У меня, как и у всех, было две бабушки. Так вот одна действительно мною умилялась. И даже привезла мне в подарок иностранных пластмассовых индейцев. Другая, напротив, с самого начала была невысокого мнения о моих умственных способностях. Когда мне было восемнадцать лет и я уже учился в университете, она все еще сомневалась, есть ли смысл посылать меня в магазин за хлебом. Вдруг я не справлюсь…

– Ты такой несобранный, – сетовала бабушка. – Бери пример со своей двоюродной сестры.

Тут же рядом стояла моя двоюродная сестра. Круглая отличница. Она заканчивала школу. Ее лицо выражало готовность сразу же действовать, если старшие чего-нибудь попросят. В свою очередь, моя физиономия ничего подобного не выражала. А если что-то и выражала, то как раз ровно обратное: готовность послать всех, особенно старших, в задницу.

– Какой же ты все-таки несобранный! – продолжала вздыхать бабушка. Это было совершеннейшей неправдой. В университете я проявлял “собранность”, какой мог позавидовать любой самый занудный отличник. А вот в школе все было действительно по-другому. Почему, я и сам не знаю.

Школа меня раздражала. Уроки казались скучными и тянулись до бесконечности. На переменах мне тоже не нравилось. Было слишком шумно. Когда вокруг тебя на протяжении двадцати минут все вопят, прыгают и толкаются, это очень утомительно.

– А ты дружи с тихими ребятами, – посоветовал мне папа, – с теми, кто хорошо себя ведет и хорошо учится. И тогда тебе в школе будет интересно.

Сейчас, по прошествии стольких лет, мне кажется, что папа лелеял эту мысль – ну, чтобы его сын общался только с отличниками, – еще когда я ходил в детский сад. Папино воображение, наверное, рисовало такую картину: его сын, школьник младших классов – естественно, круглый отличник, возвращается домой, делает уроки. Потом, ближе к вечеру, к нему (то есть ко мне) приходят в гости друзья, тоже отличники. Каждый в белой рубашке, в выглаженной школьной форме, и обязательно в сопровождении родителей, очень интеллигентных и милых. Папа нас рассаживает полукругом возле старенького проигрывателя, и мы все вместе начинаем слушать мазурки Шопена или что-нибудь в том же духе. Музыку нужно подобрать правильно. Непременно, чтобы классический репертуар, но на первых порах не слишком сложный. Тут главное не перегнуть палку. Не Скрябин, не Шёнберг – семилетним детям может показаться скучновато, а именно Шопен. Шопен – это то, что нужно. В самый раз. Затем взрослые пойдут на кухню пить чай и вести серьезные разговоры, а дети предадутся невинным развлечениям: поиграют в шахматы или в лото.

Когда у меня появлялся приятель и я сообщал об этом родителям, отец непременно спрашивал, как он учится. Я старался уклониться от прямого ответа. Если выяснялось, что приятель учится хорошо, то папа очень сердился и говорил:

– Вот видишь! Мальчик хорошо учится! И родители, наверное, им довольны. Только вот ты у нас такой оболтус.

А если новый приятель учился средне, то папа сердился еще больше и кричал маме:

– Видишь, Верочка! Нет чтобы дружить с хорошими мальчиками. Так ведь специально выбирает каких-то двоечников и лодырей.

Папа вообще часто бывал мною недоволен. Причем по самым неожиданным поводам. Помню, как-то раз меня оставили дома одного. Я сидел за столом и играл. Игрушек было немного. Набор бабушкиных пластмассовых индейцев и две шеренги революционных матросов со штыками наперевес. Их мне подарила мама. По сюжету мои индейцы сидели в крепости, сделанной из иностранных пивных банок. Такие пивные банки в 70-х годах были большой редкостью, и выбрасывать их никому не приходило в голову. Революционные матросы почему-то выступали у меня в роли колонизаторов. У них была задача взять крепость штурмом. Вариантов развития сюжета было несколько. Но, как правило, полуголые индейцы побеждали. Папа, кстати, всегда злился, когда я играл в индейцев и матросов, и кричал:

– Опять ты своих чертей выложил! Лучше бы делом занялся! Книжку почитал или музыку послушал. Мазурки Шопена…

Поэтому играть в индейцев я мог только когда находился дома один. Но это, слава богу, случалось не так уж редко. Мама и папа много работали.

И вот я в очередной раз остался дома наедине с индейцами, революционными матросами и пивными банками. Я еще тогда хотел пустить в дело рыцарскую дружину из игрушечного набора “Ледовое побоище”, который мне только что подарили. И пытался определиться, за кого же все-таки будут сражаться рыцари: за индейцев или за революционных матросов. Наконец, я решил, что рыцари – русская и немецкая дружина – вероломно нападут на тех и других, а индейцы и матросы в условиях новой опасности объединятся. И в тот момент, когда я выстроил дружину на обеденном столе в боевом порядке, раздался телефонный звонок.

Я снял трубку и услышал пожилой мужской голос:

– Попросите, пожалуйста, Веру!

– Мамы дома нет. Она в магазине, – ответил я и тут же вспомнил фразу, которой меня выучили: – А что ей передать?

– Передайте, – сказали мне, – что звонил Балашов. Из Москвы. По важному делу.

Вскоре с работы вернулся папа. К тому моменту я закончил играть и успел спрятать своих “чертей” в нижний ящик письменного стола. Индейцы и матросы, как и предполагалось изначально, победили.

– Где мама? – спросил он меня.

– В магазин ушла. Сказала, что в магазине на Тореза обещали выбросить кур по рубль семьдесят пять.

Я тогда плохо представлял себе, что такое “куры по рубль семьдесят пять” и чем они отличаются от других. Но догадывался, что раз у них такое длинное название, значит, это не простые куры, а какие-то особенно хорошие и за ними нужно долго стоять в очереди.

– Понятно… – сказал папа. – А ты тут чем занимался?

– Домашнюю работу делал, – соврал я. – Нам примеры задали. А еще маме звонили из Москвы…

– Из Москвы? Кто? – удивился папа.

– Звонил… – тут я собрался с мыслями, – Башколов.

Папа почему-то очень рассердился:

– Звонил Балашов! Слышишь! БА-ЛА-ШОВ! Николай Иванович Балашов. Член-корреспондент Академии наук… Понятно?! А “башколов” – это ты!

С этими словами он ушел на кухню курить, и наш разговор прервался.

Вероятно, папа уже тогда начинал понимать, что ему все сложнее влиять на ситуацию. Осуществление проекта детского музыкального салона явно откладывалось на неопределенное время. И все же отец лелеял надежду ввести меня в круг приличных детей.

– Тебе надо побольше общаться с отличниками, – твердил он мне.

– Они все девчонки, – оправдывался я. – Не могу же я дружить с девчонками!

– Ну с Настей Донцовой ты почему-то общаешься, – резонно возражал папа, – а она ведь отпетая троечница.

В Настю Донцову я был влюблен. Она была похожа на актрису Белохвостикову. Тоненькая девочка. Круглое лицо. Большие испуганные глаза. Очень красивые, голубые. Прямые длинные волосы. Мы жили в соседних домах, часто возвращались из школы вместе и ходили друг к другу в гости. На дне рождения Насти из всех гостей я был единственным мальчиком. Остальные были девочки. Привели еще какого-то Вадика. Но он был сыном знакомых Настиной мамы. Когда мы маленькие, такие вот “вадики” неизбежны на наших днях рождения. Вадик сидел на противоположном от меня конце стола и исподлобья на всех смотрел. Внешность его я не запомнил. Помню только белесые редкие брови на круглом лице. В какой-то момент он подсел ко мне и стал хвастаться, что родители купили ему новый велосипед. Я ему в ответ сказал, что у меня тоже есть велосипед. Вадик задумался и стал ковыряться в носу указательным пальцем. Я на всякий случай от него отодвинулся. Вообще тот день рождения был скучным. Настины родители затеяли детский концерт и заставляли нас читать вслух школьные стихи. Я застеснялся и стал упрямо отказываться. Настины родители мне не нравились. Они явно не одобряли нашей с Настей дружбы. Видимо, им казалось, что их дочь достойна мальчика, у которого успеваемость по основным предметом выше, чем у меня. Мой папа, кстати, тоже не был в восторге. Но он понимал, что сердцу не прикажешь и давить на меня не стоит. Настя… ну и бог с ней. В конце концов, с годами найдет себе девочку поумнее, из профессорской семьи. Будут вместе в филармонию ходить. Шопена слушать. А товарищи – дело другое. Тут следует проявить твердость.

– Ты бы очень порадовал отца, – сказал он мне как-то раз за обедом, – если бы подружился с Алешей Петренко. Верочка! – повернулся он к маме, – они тут с Алешей листики собирали на остановке. Я наглядеться не мог! Два таких чудных мальчика!

Леша Петренко был круглым отличником, и с первого класса его фотография висела на школьной доске почета. “Собирали листики…” Эти дурацкие “листики” папа вспоми-

нал потом целый год. В тот день он забирал меня из школы. На трамвайной остановке мы встретили Лешу Петренко и его маму, пожилую даму в демисезонном пальто и с выражением вдохновенной скуки на лице. Стоял теплый октябрь. Трамвая долго не было. Взрослые завели о чем-то разговор, а нас с Лешей предоставили друг другу.

Лешина мама сказала:

– Пока трамвая вроде не видно, идите, дети, вон к тем деревьям и поиграйте.

– Во что поиграть? – с готовностью спросил Леша.

– Ну, листики пособирайте. Вон они какие красивые – желтенькие, красные. Помнишь, Алеша, мы стихотворение наизусть учили про золотую осень? Бегите, ребятки, посоревнуйтесь, кто первый соберет самый красивый букет.

Если бы в тот момент рядом был Витя Андреев или Вадик Кириллов из моего класса, мы бы нашли чем заняться. Мы бы в пятнашки поиграли или желудями покидались. Но Леша сразу же направился туда, куда сказали. Мне пришлось к нему присоединиться. И тоже подбирать с земли дурацкие желтые листья, чтобы порадовать папу. До сих пор вспоминаю выражение полнейшего счастья и безмятежности на его лице.

Но это был всего лишь эпизод. Потом я стал Лешу старательно избегать. Леша и сам не рвался ко мне в друзья: все-таки я числился среди троечников. Леша меня раздражал. На уроках он сидел прямой, как палка, аккуратно сложив на парте руки, и глядел на учительницу круглыми немигающими глазами. У него была маленькая коротко стриженная голова и очень тонкая шея. Леша чем-то напоминал череп, в который я играл, когда мне было три года. Но в сравнении с черепом он проигрывал. Этот череп хранился в зеленой коробке у бабушки. Его где-то достала моя тетя, художница, чтобы рисовать, как мне объяснили. Когда я приходил к бабушке, я первым делом шел в гостиную, где стояла зеленая коробка, доставал оттуда череп и начинал с ним играть.

– Череп, череп, – говорил я ему. – Здравствуй, дядя череп.

Я осторожно просовывал пальцы в пустые глазницы. Мне казалось, что череп меня понимает.

– Аля! – в сердцах кричала бабушка. – Сейчас же убери череп и перестань пугать ребенка!

Череп тут же отбирали, и я начинал плакать. Череп был гораздо лучше всяких там одноклассников. Особенно таких, как Леша Петренко. Череп жил своей независимой жизнью. Он молчал, когда я с ним разговаривал, и внимательно слушал. А Леша всякий раз принимался, не дослушав, визгливо хохотать. И мне совсем не хотелось с ним дружить.

Люди в голом и “гамма глобулина”

Одинокий человек совершенно беззащитен. Одному нельзя никак. Надо, чтоб у тебя всегда кто-то был. Не обязательно человек. Достаточно какой-нибудь вещи. Но только, чтобы ее нельзя было куда-нибудь приспособить. Человек тебе совершенно ни к чему. Он говорит много, руками тебя как-то трогает. Вещь в этом смысле гораздо спокойнее. Лежит себе и лежит. Есть не просит. А один – это не тогда, когда людей рядом нет. Один – это когда у тебя ничего нет. Никаких вещей. Твоих вещей. У тебя есть школьная форма, ранец, пенал с карандашами, тетради, учебники. Учебники не твои, а библиотечные. В них строго-настрого запрещено рисовать.

Ты совершенно голый. Нудист на пляже тоже, конечно, голый. Но у него есть одежда. Она просто спрятана в рюкзаке на случай, если нудисту надоест показывать окружающим свои причиндалы. Или если нудист проголодается и пойдет домой обедать.

Одинокий человек совершенно беззащитен. Особенно если это маленький человек. Маленький не в смысле Акакий Акакиевич, Описий Описиевич или Иван Денисыч. Малень-

кий в том смысле, что ему всего семь лет, что он ребенок. Для маленького человека выставляться голым – позор. Это некрасиво и постыдно. Для взрослого, пусть ты даже трижды Акакий Акакиевич, – это художественная акция, перформанс. Гордость и красота.

Или трагедия.

Но обязательно красивая трагедия.

В середине 1970-х у моей мамы, когда она работала в Институте культуры, учился студент-вьетнамец. Тогда к нам часто приезжали молодые люди из стран содружества. Этот вьетнамец был писателем и однажды сочинил киносценарий. Там, по сюжету, американские военные ворвались в деревню и изнасиловали женщину, молодую мать. Муж, член коммунистической партии, в тот момент где-то героически сражался с оккупантами. Женщина не перенесла позора и удалилась в монастырь. Потом война кончилась, американцев прогнали. Муж возвратился домой, а жены нет. Односельчане ему обо всем рассказали. Муж сначала пригорюнился, но потом взял себя в руки и отправился на поиски. Он объехал полстраны, пока, наконец, по счастливому стечению обстоятельств, не нашел своей жены в некоем монастыре. Женщина вышла к нему навстречу (тут, по сценарию, должна была звучать трогательная вьетнамская песня). Он обнял ее и уговорил вернуться. Сказал, что любит. И женщина, в конце концов, возвратилась к мужу, в семью, в работу.

Все это было изложено в виде сценария. Начинался он так:

> “Американские насильники насилуют вьетнамскую женщину в голом.
> Женщина в голом зовет на помощь.
> Подлые смехи”.

Вьетнамцу накануне показывали альбом репродукций и научили выражениям “женщина в синем”, “женщина в черном”, “женщина в белом”. В самом деле, если есть “женщина в белом”, почему бы не быть “женщине в голом”?

И ничего смешного. “Женщина в голом”, которую насилуют американские насильники, – это трагедия. Особенно если рядом или где-то поблизости раздаются “подлые смехи”.

Трагедия, да. Но трагедия слишком красивая. Кстати, как потом стало известно, сценарий про “женщину в голом” вьетнамское руководство не утвердило. Видимо, в “женщине в голом” оно усмотрело что-то красиво-легкомысленное, то есть южно вьетнамское, буржуазное, а стало быть, не совместимое с задачами социалистического строительства и заветами товарища Хо Ши Мина.

Семилетний “ребенок в голом” – это совершенно некрасиво, не легкомысленно и не буржуазно. Это стыд и позор.

Каждый год в школе перед первым сентября нас подвергали “медосмотру”. Заканчивался этот мед осмотр унизительной для всякого ребенка процедурой. Медсестра заставляла каждого лечь на кушетку, животом вниз. Потом она стаскивала с лежащего ребенка трусы и колола ему в попу “гамму глобулина”. Это было не просто больно. Это было больно и одновременно позорно. Особенно когда медсестра стаскивала с тебя трусы, а потом отходила к медицинскому столику взять шприц. Ты лежал кверху попой, а на тебя глазели одноклассники, толпившиеся у входа в процедурную. Ты лежал совершенно голый (спущенные до колен трусы не в счет), беззащитный и одинокий. Ожидание укола, пока медсестра наполняла шприц возле столика, длилось целую вечность. Ты ощущал на себе, своей голой и позорной попе взгляды одноклассников.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.